

## Часть первая

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Верховое Заволжье — край привольный. Там народ досужий, бойкий, смысленный и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска вниз до устья Кёрженца. Ниже не то: пойдет лесная глушь, луговая черемиса, чуваша, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись, народ там другой: хоть русский, но не таков, как в Верховье. Там новое заселение, а в Заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору — новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву» и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор — с белокаменными стенами, золотоверхими церквями, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Сокрылся он чудесно, Божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, захотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил Господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит, — открывается перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских.

Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь сыстари на чистоте стоит, — какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина.

В лесистом Верховом Заволжье деревни малые, зато частые, одна от другой на версту, на две. Земля холодна, неродима, своего хлеба мужику разве до масленой хватит, и то в урожайный год!

Как ни бейся на надельной полосе, сколько страды над ней не принимай, круглый год трудовым хлебом себя не прокормишь. Такова сторона!

Другой на месте заволжанина давно бы с голода помер, но он не лежебок, человек досужий. Чего земля не дала, уменьем за дело взяться берет. Не побрел заволжский мужик на заработки в чужу-дальнюю сторону, как сосед его вязниковец, что с пуговками, с тесемочками и другим товаром кустарного промысла шагает на край света семье хлеб добывать. Не побрел заволжанин по белу свету плотничать, как другой сосед его галка<sup>1</sup>. Нет. И дома сумел он приняться за выгодный промысел. Вареги зачал вязать, поярок валять, шляпы да сапоги из него делать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, весовые коромысла чуть не на всю Россию делать. А коромысла-то какие! Хоть в аптеку бери — сделаны верно.

Леса заволжанина кормят. Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанин точит да красит; гребни, донца, веретена и другой щепной товар работает, ведра, ушаты, кадки, лопаты, коробы, весла, лейки, ковши — все, что из лесу можно добыть, рук его не минует. И смолу с дегтем сидит, а заплатив попенные, рубит лес в казенных дачах и сгоняет по Волге до Астрахани бревна, бруссы, шести, дрючки, слег и всякий другой лесной товар. Волга под боком, но заволжанин в бурлаки не хаживал. Последнее дело в бурлаки идти! По Заволжью так думают: «Честней под оконьем Христовым именем кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть». И правда.

Живет заволжанин хоть в труде, да в достатке. Сисстари за Волгой мужики в сапогах, бабы в котах. Лаптей видом не видано, хоть слыхом про них и слыхано. Лесу вдоволь, лыко нипочем, а в редком доме кочедык найдешь. Разве где такой дедушка есть, что с печки уж лет пяток не слезает, так он, скуки ради, лапотки иной раз ковыряет, нищей братье подать либо самому обуться, как станут его в домовину обряжать. Таков обычай: летом в сапогах, зимой в валенках, на тот свет в лапотках...

Заволжанин без горячего спать не ложится, по воскресным дням хлебает мясное, изба у него пятистенная, печь с трубой; о черных избах да соломенных крышах он только слышал, что есть такие где-то «на Горах»<sup>2</sup>. А чистота какая в заволжских домах!.. Славят немцев за чистоту, русского корят за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тем славильщикам, не то бы сказали. Кто

---

<sup>1</sup> Крестьяне Галицкого и других уездов Костромской губернии. (Все примечания, данные в сносках, принадлежат автору. — *Ред.*)

<sup>2</sup> «Горами» зовут правую сторону Волги.

знаком только с нашими степными да черноземными деревнями, в голову тому не придет, как чисто, опрятно живут заволжане.

Волга — рукой подать. Что мужик в неделю наработает, тотчас на пристань везет, а поленился — на соседний базар. Больших барышей ему не нажить; и за Волгой не всяк в «тысячники» вылезет, зато, как ни плоха работа, как работников в семье ни мало, заволжанин век свой сыт, одет, обут, и податные за ним не стоят. Чего ж еще?.. И за то слава те, Господи!.. Не всем же в золоте ходить, в руках серебро носить, хоть и каждому русскому человеку такую судьбу няньки да мамки напевают, когда еще он в колыбели лежит.

Немало за Волгой и тысячников. И даже очень немало. Плохо про них знают по дальним местам потому, что заволжанин про себя не кричит, а если деньжонок малу толику скопит, не в банк кладет ее, не в акции, а в родительскую кубышку, да в подполье и зароем. Миллионщиков за Волгой нет, тысячников много. Они по Волге своими пароходами ходят, на своих паровых мельницах сотни тысяч четвертей хлеба перемалывают. Много за Волгой таких, что десятками тысяч капиталы считают. Они больше скупкой горянщины<sup>1</sup> да деревянной посуды промышляют. Накупят того, другого у соседей, да и плыват весной в Понизовье. Барыши хорошие! На иных акциях, пожалуй, столько не получишь.

Один из самых крупных тысячников жил за Волгой в деревне Осиповке. Звали его Патапом Максимычем, прозывали Чапуриным. И отец так звался и дедушка. За Волгой и у крестьян родовые прозвания ведутся, и даже свои родословные есть, хотя ни в шестых, ни в других книгах они и не писаны. Край старорусский, кондовый, коренной, там родословные прозвища встарь бывали и теперь в обиходе.

Большой, недавно построенный дом Чапурина стоял середь небольшой деревушки. Дом в два жилья, с летней светлицей на вышке, с четырьмя боковушками, двумя светлицами по сторонам, с моленной в особой горнице. Ставлен на каменном фундаменте, окна створчатые, стекла чистые, белые, в каждом окне занавеска миткалевая с красной бумажной бахромкой. На улицу шесть окон выходило. Бревна лицевой стены охрой на олифе крашены, крыша красным червляком. На свесах ее и над окнами узорчатая прорезь выделана, на воротах две маленькие расшивы и один пароход ради красы поставлены. В доме прибрано все на купечскую руку. Пол крашеный, — олифа своя, не занимать стать; печи-голландки, кафельные, с горячими лежанками; по стенам, в рамках красного дерева два зеркала да с полдюжины картин за

---

<sup>1</sup> Горянщиной называется крупный щепной товар: обручи, дуги, лопа-  
ты, оглобли и т. п.

стеклом повешено. Стулья и огромный диван красного дерева крыты малиновым трипом, три клетки с канарейками у окон, а в углу заботливо укрыты платками клетки: там курские певуны — соловьи; до них хозяин охотник, денег за них не жалеет.

По краям дома пристроены светелки. Там хозяйские дочери проживали, молодые девушки. В передней половине горница хозяина была, в задней моленная с иконостасом в три тѣбла. Канонница с Керженца при той моленной жила, по родителям «негасимую» читала. Внизу стряпушая, подклет да покои работников да работниц.

У Патапа Максимыча по речкам Шишинке и Чернушке восемь токарен стояло. Посуду круглую: чашки, плошки, блюда в Заволжье на станках точат — один работник колесо вертит, другой точит. К такому станку много рук надо, но смышленный заволжанин придумал, как делу помочь. Его сторона место ровное, лесное, болотное, речек многое множество. Больших нет, да нет и таких, что «на Горах» водятся: весной корабли пускай, в межень курица не напьется. В песчаных ложах заволжских речек воды круглый год вдосталь; есть такие, что зимой не мерзнут: летом в них вода студеная, рука не терпит, зимой пар от нее. На таких-то речках и настроили заволжские мужики токарен: поставит у воды избенку венцов в пять, в шесть, запрудит речонку, водоливное колесо приладит, привод веревочный пристегнет, и вертит себе такая меленка три-четыре токарных станка зараз. Работа не в пример спорее. Таких токарен у осиповского тысячника было восемь, на них тридцать станков стояло; да, кроме того, дома у него, в Осиповке, десятка полтора ручных станков работало. Была своя красильня посуду красить, на пять печей; чуть не круглый год дело делала. Работников по сороку и больше Патап Максимыч держал. Да по деревням еще скупал крашоновую и некрашоновую посуду. Горянщиной сам в Городце торговал. Две крупчатки у него в Красной Рамени было, одна о восьми, другая о шести поставках. Расшивы свои по Волге ходили, из Балакова да из Новодевичья пшеницу возили, на краснораменских крупчатках Чапурин ее перемалывал. Мукой в Верховье он торговал: славная мука у него бывала — чистая, ровно пух; покупатели много довольны ей оставались.

У Макарья Патап Максимыч две лавки снимал, одну в щепаном, другую в мучном ряду. Вот уж тридцать лет, как он каждый год выправляет торговое свидетельство и давно слывет тысячником. Денег в мошне у него никто не считал, а намолвка в народе ходила, что не одна сотня тысяч есть у него. И в казенны подряды пускался Чапурин, но большого припену от них не видал. Говаривал подчас приятелям: «Рад бы бросил окаянные эти подряды, да больно уж я затянулся; а помирать Бог приведет, крепко-на-

крепко дочерям закажу, ни впредь, ни после с казной не вязались бы, а то не будь на них родительского моего благословения».

Почет Патапу Максимычу ото всех был великий. По Заволжью никто его без поклона не миновал; окольные мужики, у которых Чапурин посуду скупал, в глаза и за глаза называли его «наш хозяин». Доверие он имел не в одном крестьянстве, но и в купеческом обществе. Да вот какой случай раз приключился. Мостил Чапурин в городе мостовую, подряд немалый, одного залога десять тысяч было представлено им. Кончил работу, сдал как следует и поехал в город заработанную плату да залоги получать. Дорогой узнает, что назавтра торги на перевозку казенной соли в Рыбинск назначены. Посчитал, посчитал, раскинул умом-разумом, видит — поставка будет с руки: расшива без дела, бурлаки недороги, паводок девять четвертей. Приехал в город прямо на торги. Соляные чиновники так и ахнули, увидав Патапа Максимыча, — знали его. «Вот принес незваного-непрошеного», — тихонько меж собой поговаривают, — а дело-то у них с другими было полагено. Проводали, однако ж, соляные, что денег у Чапурина в наличности нет, упросили приятелей в строительной комиссии залогов ему не выдавать, пока на соль переторжка не кончится. Пошли в строительной водить Патапа Максимыча за нос, водят день, водят другой: ни отказа, ни приказа: «Завтра да завтра: то да се, подожди да повремени; надо в ту книгу вписать, да из того стола справку забрать». Известно дело!.. Чапурина не-тверпеж... Дотянули строительные до того, что час один до переторжки остается, а денег не выдают. Смекнул Чапурин каверзы, видит, хотят его в дураки оплести. «Так врешь же, барин, — думает себе, — ты у меня погоди». Да, отвесив поклон строительным, вон из присутствия. Те: «Куда, да зачем, да постой»; а он ломит себе, да прямо в гостинный двор. Там короткой речью сказал рядовичам, в чем дело, да, рассказавши, снял шапку, посмотрел на все четыре стороны и молвил: «Порадейте, господа купцы, выручите!» Получаса не прошло, семь тысяч в шапку ему накидали. «Будет, будет!.. — кричит Патап Максимыч. — Спаси вас Христос». Духу не переводя, поскакал на переторжку. Там ему первым словом:

— Залоги?

— Вот они! — молвил Патап Максимыч.

Отдал деньги и пошел цену сносить. Снес чуть не половину, а четыре копейки нажил на рубль. Очень недовольны соляные остались.

Патап Максимыч с семьей старинки придерживался, раскольничал, но закоснелым изувером никогда не бывал. Не держался правила: «С бритоусом, с табашником, щепотником и со всяким скобленным рылом не молись, не водись, не дружись, не бранись». И раскольничал-то Патап Максимыч потому больше,

что за Волгой издавна такой обычай велся, от людей отставать ему не приходилось. Притом же у него расколом дружба и знакомство с богатыми купцами держались, кредита от раскола больше было. Да, кроме того, во время отлучек из дому по чужим местам жить в раскольниковых домах бывало ему привольней и спокойней. На Низ ли поедет, в верховы ли города, в Москву ли, в Питер ли, везде и к мало знакомому раскольникову идет он, как к родному. Всячески его успокоят, все приберегут, все сохраняют и всем угодят. И то льстило Патапу Максимычу, что после родителя был он попечителем городецкой часовни, да не таким, что только по книгам значатся, для видимости полиции, а «истовым», коренным. От часовенного общества за то ему почет был великий. А почет Чапурин любил.

Семья у него небольшая, сам с женой да две дочери. Богоданная дочка была еще, Груня-сиротка, сызмальства Чапуриным призренная, — та уж замуж выдана была в деревню Вихорево за тысячника. Родные дочери тоже на возрасте были: старшей, Настасье, восемнадцать минуло, другая, Прасковья, годом была помоложе. Только что воротились они в родительский дом от тетки родной, матери Манефы, игуменьи одной из Комаровских обителей. Гостили девушки у тетки без мала пять годов, обучались Божественному писанию и скитским рукодельям: бисерны лестовки вязать, шелковы кошельки да пояски ткать, по канве шерстью да синелью вышивать и всякому другому белоручному мастерству. Отец тысячник выдаст замуж в дома богатые, не у квашни стоять, не у печки девицам возиться, на то будут работницы; оттого на белой работе да на книгах больше они и сидели. Настя да Параша в обители матушки Манефы и «часовник» и все двадцать кафизм псалтыря наизусть затвердили, отеческие книги читали бойко, без запинки, могли справлять уставную службу по «Минее месячной», петь по крюкам, даже «развод демественному и ключевому знамени» разумели. Выучились уставом писать и, живя в скиту, немало «Цветников» да «сборников» переписали и перед великим праздником посылали их родителям в подарение. А Патап Максимыч любил на досуге душеспасительных книг почитать, и куда как любо было сердцу его родительскому перечитывать «Златоструи» и другие сказанья, с золотом и киноварью переписанные руками дочерей-мастериц. Какие «заставки» рисовала Настя в начале «Цветников», какие «финики» по бокам золотом выводила — любо-дорого посмотреть!

Настя с Парашей, воротясь к отцу, к матери, расположились в светлицах своих, а разукрасить их отец не поскупился. Вечером, как они убрались, пришел к дочерям Патап Максимыч поглядеть на их новоселье и взял рукописную тетрадку, лежавшую у Насти на столике. Тут были «Стихи об Иоасафе царевиче», «Об Алексее Божьем человеке», «Древян гроб сосновый» и рядом с этой псалмой «Похвала пустыне». Она начиналась словами:

Я в пустыню удаляюсь  
От прекрасных здешних мест.  
Сколько горести напрасно  
Я в разлуке с милым должна снести...

Перевернул Патап Максимыч листок, там другая псалма:

Сизенький голубчик,  
Армейский поручик.

Поморщился Патап Максимыч, сунул тетрадку в карман и, ни слова не сказав дочерям, пошел в свою горницу. Говорит жене:

— Ты, Аксинья, за дочерями-то приглядывай.

— Чего за ними, Максимыч, приглядывать? Девки тихие, озорства никакого нет, — отвечала хозяйка, глядя удивленными глазами на мужа.

— Не про озорство говорю, — сказал Патап Максимыч, — а про то, что девки на возрасте, стало быть, от греха на вершок.

— Что ты, Максимыч! Бога не боишься, про родных дочерей что говоришь! И в головоньку им такого мотыжничества не приходило; птенчики еще, как есть слетышки!

— Гляди им в зубы-то! Нашла слетышков! Настасье-то девятнадцатый год, глянь-ка ей в глаза-то — так мужа и просит.

— Полно грешить-то, Максимыч, — возвысила голос Аксинья Захаровна. — Чтой-то ты? Родных дочерей забижать!.. Клепешь на девуку!.. Какой ей муж?.. Обе ничегохонько про эти дела не разумеют.

— Держи карман!.. Не разумеют!.. В Комарове-то, поди, всякие виды видали. В скитах завсегда грех со спасеньем по-соседски живут.

— Да полно ж грешить-то тебе!.. — еще больше возвысила голос Аксинья Захаровна. — Как возможно про честных стариц такую речь молвить? У матушки Манефы в обители спокон веку худого ничего не бывало.

— Много ты знаешь!.. А мы видали виды... Зачем исправник-от в Комаров каждую неделю наезжает... Даром, что ли?.. В Московкиной обители с белицами-то он от писанья, что ли, беседует?.. А Домне головщице за что шелковы платки дарит?.. А купчики московские зачем к Глафириным ездят?.. А?..

— Полно тебе, старый хрен, хульные словеса нести, — с озлобленьем вскричала Аксинья Захаровна. — Слушать-то грех!.. Совсем обмирщился!.. Аль забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется?.. Повелся с табашниками-то!.. Вот и скружился. На святые обители хулу нести!.. А?.. Бога-то, видно, в тебе не стало... Знамо дело, зачем в Комаров люди ездят: на могилку к честному отцу Ионе от зубной скорби помолиться, на поклоненье могилке матушки Маргариты. Мало ль в Комарове

святыни!.. Ей христиане и приезжают поклоняться. А по лесу сколько святых мест на старых скитах, разоренных!

— Уж исправник-от не тем ли святым местам ездит поклоняться? — усмехаясь, спросил жену Патап Максимыч. — Домашка головища, что ли, ему в лесу-то каноны читает?.. Аль за те каноны Семен-от Петрович шелковы платки ей дарит?

Не вытерпела Аксинья Захаровна, плюнула и вон пошла. Сама за Чапурина из скитов «уходом» бежала, и к келейницам сердце у ней лежало всегда.

Поспорь эдак Аксинья Захаровна с сожителем о мирском, был бы ей окрик, пожалуй, и волосник бы у ней Патап Максимыч поправил. А насчет скитов да лесов и всего эдакого духовного — статья иная, тут не муж, а жена голова. Тут Аксиньина воля; за хульные словеса может и лестовкой мужа отстегать.

Так исстари ведется. Раскол бабами держится, и в этом деле баба голова, потому что в каком-то писании сказано: «Муж за жену не умолит, а жена за мужа умолит».

Сел за стол Патап Максимыч. Хотел счета за год подводить, но счета не шли на ум. Про дочерей раздумывал.

«Хоть и жаль расставаться, а лучше к месту скорей, — думал он. — Дочь чужое сокровище: пой, корми, холь, разуму учи, потом в чужи люди отдай. Лучше скорей тем делом повернуть. Для чего засиживаться?.. Мне же Данило Тихоныч намерен насчет сына загадку заганул... Что ж?.. Дом хороший, люди богобоязные, достаток есть... Отчего не породниться?.. Настасья с Прасковей не бесприданницы; с радостью возьмут. Жених, кажись, малый складный: и речист, и умен, дело из рук у него не валится... На крещенском базаре потолкуем и, Бог даст, порешим... А долго девок дома не держать... Долго ль до греха?»

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Вечер крещенского сочельника ясный был и морозный. За околицей Осиповки молодые бабы и девки собирали в кринки чистый «крещенский снежок» холсты белить да от сорока недугов лечить. Поглядывая на ярко блиставшие звезды, молодницы закладывали, что новый год белых ярок породит, а девушки меж себя толковали: «Звезды к гороху горят да к ягодам; вдоволь уродится, то-то загуляем в лесах да в горохах!»

Стары старухи и пожилые бабы домовничали; с молитвой клали они мелом кресты над дверьми и над окнами ради отогнания нечистого и такую думу держали: «Батюшка Микола милостливый, как бы к утрею-то оттепело, да туман бы пал на святую Ердань, хлебушка бы тогда вдоволь нам уродилось!» Мужики вокруг лошадей возились: известно, кто в крещенский сочельник у коня копыта почистит: у того конь весь год не будет хромать и

не случится с ним иной болести. Но, веря своей примете, мужики не доверяли бабьим обрядам и, ворча себе под нос, копались средь дворов в навозе, глядя, не осталось ли там огня после того, как с вечера старухи пуки лучины тут жгли, чтоб на том свете родителям было теплее. В избах у красного угла толпились ребяташки. Притаив дыханье, глаз не спускали они с чашки, наполненной водою и поставленной у божницы: как наступит Христово крещение, сама собой вода колыхнется и небо растворится; глянь в раскрытое на один миг небо и помолись Богу: чего у него ни попросишь, все даст.

— Пусти нас, мамынька, с девицами снежок пополоть, — просилась меньшая дочь у Аксины Захаровны.

— В уме ль ты, Паранька? — строго ответила мать, набожно кладя под окнами мелом кресты. — Приедет отец да узнает, что тогда?

— Да ведь мы не одни! Все девицы за околицей... И мы бы пошли, — заметила старшая, Настасья.

— Пушу я вас ночью, с девками!.. Как же!.. С ума своротила, Настенка! Ваше ль дело гулять за околицей?

— Другие пошли же.

— Другие пошли, а вам не след. Худой славы, что ль, захотели?

— Какой же славы, мамынька? — приставала Параша.

— А вот как возьму лестовку да ради Христова праздника отстегаю тебя, — с притворным негодованьем сказала Аксинья Захаровна, — так и будешь знать, какая слава!.. Ишь что вздумала!.. Пусти их снег полоть за околицу!.. Да теперь, поди чай, парней-то туда что навалило: и своих, и из Шишинки, и из Назаровой!.. Долго ль до греха?.. Девки вы молодые, дочери отецкие: след ли вам по ночам хвосты мочить?

— Да пошли же другие, — настаивала Настя. Очень ей хотелось поиграть с девицами за околицей.

— Коли пошли, так туда им и дорога, — ответила мать. — А вам с деревенскими девками себя на ряду считать не доводится.

— Отчего ж это, мамынька?.. Чем же мы лучше их?.. — спросила Настасья.

— Тем и лучше, что хорошего отца дочери, — сказала Аксинья Захаровна. — Связываться с теми не след. Сядьте-ка лучше да псалтырь ради праздника Христова почитайте. Отец скоро с базара приедет, утрению будем стоять; помогли бы лучше Евпраксеюшке моленну прибрать... Дело-то не в пример будет праведнее, чем за околицу бегать. Так-то.

— Да, мамынька... — заговорила было Настя, — нам бы с девушками посмеяться, на морозце поиграть.

— Сказано, не пушу! — крикнула Аксинья Захаровна. — Из головы выбрось снег полоть!.. Ступай, ступай в моленну, прибирайте к утрени!.. Эки бесстыжие, эки вольные стали — матери не

слушают!.. Нет, девки, приберу вас к рукам... Что выдумали! За околицу!.. Да отец-то съест меня, как узнает, что я за околицу вас ночью отпустила... Пошли, пошли в моленную!

Помялись девушки и со слезами пошли в моленную.

— Ишь что баловницы выдумали!.. — ворчала Акси́нья Захаровна, оставшись одна и кладя меловые кресты над входами и выходами, — ишь что выдумали — снег полоть!.. Статочно ли дело?.. Сведаят, что Патапа Максимыча дочери по ночам за околицу бегают, что в городе скажут по купечеству?.. Срам один... Просто срам... Долго ль девкам навек ославиться?.. Много недобрых-то людей... Как пить дадут — наплетут, намочалят невесть чего!.. И что им, глупым, захотелось за околицу?.. Чего не видали?.. Снег полоть, холсты белить!.. Да придется разве им холсты-то белить?.. Слава Богу, всего припасено, не бесприданницы... А теперь, поди, у девок за околицей смеху-то, балованья-то что!.. Была и я молода, хаживала и я под Крещение снежок полоть... Точим балясы до вторых петухов; парни придут с балалайками... Прибаутками со смеху так и морят... И чего-то, чего не бывало!.. Ох, согрешила я, грешница!.. А хочется девонькам за околицу... Ну, да им нельзя, хорошего отца дети; нельзя!.. Ох, девичья пора!.. Веселья все хочется, воли... Девоньки мои, девоньки!.. и пустила б я вас, да как сам-то придет, как сам-то узнает... Тогда что?..

В то время гурьба молодежи валила мимо двора Патапа Максимыча с кринками, полными набранного снега. Раздалась веселая песня под окнами. Пели «Авсень», величая хозяйских дочерей:

Среди Москвы,  
Ворота пестры,  
Ворота пестры,  
Вереи красны,  
Ой Авсень, Таусень!..

У Патапа на дворе,  
У Максимыча в дому  
Два теремушка стоят,  
Золотые терема.  
Ой Авсень, Таусень!..

Как во тех теремах  
Красны девицы сидят,  
Свет душа Настасьюшка,  
Свет душа Прасковьюшка.  
Ой Авсень, Таусень!..

— О, чтоб вас тут, непутные!.. — вздрогнув от первых звуков песни, заворчала Акси́нья Захаровна, хоть величанье дочерей и было ей по сердцу. По старому обычаю, это не малый почет. — О, чтоб вас тут!.. И свят вечер не почитают, греховодники! Вечор не-

чистого из деревни гоняли, сегодня опять за песни... Страху-то нет на вас, окаянные!

Гурьба парней и девок провалила. Какой-то отсталый хриплым, нестройным голосом запел под окнами:

Я тетерку гоню,  
Полевую гоню:  
Она под куст,  
А я за хвост!  
Авсень, Таусень!  
Дома ли хозяин?

— Мать Пресвята Богородица! — всплеснув руками, воскликнула Акси́нья Захаровна. — Микешка беспутный!.. Его голос!.. Господи! Да что ж это такое?..

Пьяный голос слышен был у ворот. Кто-то стучался. Сбежав в подклет, Акси́нья Захаровна наказывала работникам не пускать на двор Микешку.

— Хоть замерзни, в дом не пушу. Не пушу, не пушу! — кричала она.

Заскрипел снег под полозьями. Стали сани у двора Патапа Максимыча.

— Приехал, — весело молвила Акси́нья Захаровна и засуетилась. — Матренушка, Матренушка! Сбирай поскорей самоварчик!.. Патап Максимыч приехал.

В горницу хозяин вошел. Жена торопливо стала распоясывать кушак, повязанный по его лисьей шубе. Прибежала Настя, стала отряхивать заиндевелую отцовскую шапку, меж тем Параша снимала вязанный из шерсти шарф с шеи Патапа Максимыча. Ровно кошечки, ластились к отцу дочери, спрашивали:

— Привез гостинцу с базару, тятенька?

— Тебе, Параня, два привез, — шутил Патап Максимыч, — одну плетку ременную, другу шелковую... Котору прежде попробовать?

— Нет, тятенька, ты не шути, ты правду скажи.

— Правду и говорю, — отвечал, улыбаясь, отец. — А ты, Параня, пока плеткой я тебя не отхлыстал, поди-ка вели работнице чайку собрать.

— Сказано, уж сказано, — перебила Акси́нья Захаровна и пошла было в угловую горницу.

— Ты, Акси́нья, погоди, — молвил Патап Максимыч. — Руки у тебя чисты?

— Чисты. А что?

— То-то. На, прими, — сказал он, подавая жене закрытый бурак, но, увидя входившую канонницу, отдал ей, примолвив: — Ей лучше принять, она свят человек. Возьми-ка, Евпраксеюшка, воду богоявленскую.

Акси́нья Захаровна с дочерьми и канонница Евпраксия с утра

не ели, дожидаясь святой воды. Положили начал, прочитали тропарь и, налив в чайную чашку воды, испили понемножку. После того Евпраксия, еще три раза перекрестясь, взяла бурак и понесла в моленну.

— В часовне аль на дому у кого воду-то святили? — садясь на диван, спросила у мужа Аксинья Захаровна.

— У Михайла Петровича у Галкина, в деревне Столбовой, — ответил Патап Максимыч.

— Кто святил? Отец Афанасий, что ли? — спросила Аксинья Захаровна.

— Из острога, что ли, придет? — молвил Патап Максимыч. — Чай, не пустят?.. Новый поп святил.

— Какой же новый поп? — с любопытством спросила Аксинья Захаровна.

— Матвея Корягу знаешь?

— Как не знать Матвея Корягу? Начитанный старик, силу в писании знает.

— Он самый и святил.

— Как же святить ему, Максимыч? — с удивлением спросила Аксинья Захаровна.

— Как святят, так и святил. На Николин день Коряга в попы поставлен. Великим постом, пожалуй, и к нам приедет... «Исправляться» у Коряги станем, в моленной обедню отслужит, — с легкой усмешкой говорил Патап Максимыч.

— Ума не приложу, Максимыч, что ты говоришь. Право, уж я и не знаю, — разводя руками и вставая с дивана, сказала Аксинья Захаровна. — Кто ж это Корягу в попы-то поставил?

— Епископ. Разве не слыхала, что у нас свои архиереи завелись? — сказал Патап Максимыч.

— Австрийские-то, что ли? Сумнительны они, Максимыч. Обливанцы, слышь, — молвила Аксинья Захаровна.

— Пустого не мели. Ты, что ли, их обливала?.. — сказал Патап Максимыч.

— У нас, в Комарове, иные обители австрийских готовы принять, — вмешалась в разговор Настя. — Глафирины только сомневаются, да еще Игнатьевы, Анфисины, Трифинины, а другие обители все готовы принять, и Оленевские, и в Улангере, а и в Чернухе — везде, везде по скитам.

— Из Москвы, из Хвалыни, из Казани пишут про епископа, что как есть совсем правильный, — молвил Патап Максимыч. — Все мои покупатели ему последуют. Не ссориться с ними из-за таких пустяков... Как они, так и мы. А что есть у иных сомнение, так это правда, точно есть. И в Городце не хотят Матвея в часовню пускать, зазорен, дескать, за деньги что хочешь сделает. Про епископа Софрония тоже толкуют... Кто их разберет?.. Ну их к Богу — чайку бы поскорей.

Как утка переваливаясь, толстая работница Матрена втащила

ведерный самовар и поставила его на прибранный Настей и Парашей стол. Семья уселась чайничать. Позвали и канонницу Евпраксию. Пили чай с изюмом, потому что сочельник, а сахар скоромен: в него-де кровь бычачью кладут.

Патап Максимыч дела свои на базаре кончил ладно. Новый заказ, и большой заказ, на посуду он получил, чтоб к весне непременно выставить на пристань тысяч на пять рублей посуды, кроме прежде заказанной; долг ему отдали, про который и думать забыл; письма из Балакова получил: приказчик там сходно пшеницу купил, будут барыши хорошие; вечерню выстоял, нового попа в служении видел; со Снежковым встретился, насчет Настиной судьбы толковал; дело, почитай, совсем порешили. Такой ладный денек выпал, что редко бывает.

Удачно проведя день, Чапурин был в духе и за чаем шутки шутил с домашними. По этому одному видно было, что съездил он подобру-поздорову, на базаре сделал оборот хороший; и все у него клеилось, шло как по маслу.

— Ты, Аксинья, к себе на именины жди дорогих гостей. Обещались пироги есть у именинницы.

— Кого звал? — вскинув на мужа глазами, спросила Аксинья Захаровна.

— Скорняков Михайло Васильич с хозяйкой обещались, кум Иван Григорыич с Груней, Данило Тихоныч с сыном, Снежков прозывается.

— Не знаю такого. Что за Снежков? — сказала Аксинья Захаровна.

— Не знала, так узнаешь, — молвил Патап Максимыч. — Приятель мой, дружище, одно дельце с ним заведено: подай, Господи, хорошего совершенья.

— Откуда сам-то?

— Самарский... Мужик богатый: свои гурты из степи гоняет, салотопленный завод у него в Самаре большущий, в Питер сало поставляет. Капиталу сто четыре тысячи целковых, а не то и больше; купец, с медалью; хороший человек. Сегодня вместе и вечерню стояли.

— Так он из наших, из христиан? — спросила Аксинья Захаровна.

— Известно. Чужого разве пустил бы Михаил Петрович на освящение воды. Старинные старообрядцы: и деды и прадеды жили по древнему благочестию... С сыном Данило Тихоныч приедет; сын — парень умный, из себя видный, двадцать другой год только пошел, а отцу уж помощь большая. Вот и теперь посылает его в Питер по салу, недели через две воротится, как раз к твоим именинам. Хорошенько надо изготавиться; не ударь лицом в грязь на угощение. Ну-ка, девки-грамотейницы, книжные келейницы, смекните, в какой день материны именины придется? В скоромный аль в постный?

— Хотя в середине, да на сплошной, — ответила Настя.

— Ну, и ладно. Мясным, стало быть, потчевать станем. А рыбки все-таки надо подать. Без рыбы нельзя. Из скитов ждешь кого?

— Матушка Манефа обещалась, — ответила Аксинья Захаровна.

— Значит, и мясное надо и рыбное. Стряпка одна не управится? Пошли в Ключову за Никитишной, знатно стряпает, что твой московский трактир. Подруги, чай, тоже приедут из Комарова к девкам-то?

— Марья Гавриловна обещалась, — сказала Аксинья Захаровна, — да еще Фленушка.

— Эту бы, пожалуй, и не надо. Больно озорна.

— Ах, тятенька, что это ты? Фленушка девица во всем самая распрекрасная, — вступилась за приятельницу Настя.

— Ладно, знаем и мы что-нибудь, — молвил Патап Максимыч. — Слухом земля полнится.

— Полно, батко, постыдись, — вступилась Аксинья Захаровна. — Про Фленушку ничего худого не слышно. Да и стала бы разве матушка Манефа с недоброй славой ее в такой любви, в таком приближенье держать? Мало ль чего не мелют пустые языки! Всех речей не переслушаешь; а тебе, старому человеку, девицу обижать грех: у самой дочери растут.

— Да я ничего, — молвил Патап Максимыч. — Пусть ее приезжает. Только уж, спорь ты, Аксинья, не спорь, а келейницей Фленушка не глядит.

— А по-твоему, девицам бирюком надо глядеть, слова ни с кем не сметь вымолвить? Чай, ведь и они тоже живые, не деревянные, — вступилась Аксинья Захаровна.

— Ну, ты уж зачнешь, — сказал Патап Максимыч. — Дай только волю. Лучше б еще по чашечке налила.

— Кушай, батюшка, на здоровье, кушай, воды в самоваре много. Свеженького не засыпать ли? — молвила Аксинья Захаровна.

— Засыпь, пожалуй, — сказал Патап Максимыч. — А к именинам надо будет в городе цветочного взять, рублей этак от шести. Важный чай!

— От ярмарки шестирублевого-то осталось, — сказала Аксинья Захаровна.

— Свежего купим. Гости хорошие, надо, чтоб все по гостям было. Таковы у нас с тобой, Аксинья, будут гости, что не токмо цветочного чаю, детища родного для них не пожалею. Любую девуку отдам! Вот оно как!

Девушки переглянулись меж собой и с матерью. Канонница глаза потупила.

— Уж что ни скажешь ты, Максимыч, — сказала Аксинья За-

харовна. — Про родных дочерей неподобные слова говоришь! Бога-то побоялся бы да людей постыдился бы.

— Что сказал, то и сделаю, когда захочу, — решительно молвил Патап Максимыч. — Перечить мне не смеет никто.

Настя, ласкаясь к отцу, с притворным смехом спросила:

— Что ж ты с нами поделаешь, тятенька?

— Тебя ожарить велю, — сказал, смеясь, Патап Максимыч, — а Параша тебя пожирней, ее во щи. И стану вами гостей угощать!

— Пожалеешь, тятенька, не изжаришь.

— А вот увидишь.

— Полно-ка вам вздор-от молоть, — принимаясь убирать чайную посуду, сказала Аксинья Захаровна. — Не пора ль начинать утренью? Ты бы, Евпраксеюшка, зажигала покаместь свечи в моленной-то. А вы, девицы, ступайте-ка помогите ей.

Канонница с хозяйскими дочерьми вышла. Аксинья Захаровна мыла и прибирала чашки. Патап Максимыч зачал ходить взад и вперед по горнице, заложив руки за спину.

— Братец-от любезный, Никифор-от Захарыч, опять в наших местах объявился, — сказал он вполголоса.

— Объявился, батюшка Патап Максимыч, точно что объявился, — горьким голосом ответила Аксинья Захаровна. — Слышала я давеча под окнами голос его непутный... Ох, грехи, грехи мои!.. — продолжала она, вскидывая на мужа полные слезами глаза.

— Песнями у ворот меня встретил, — молвил Патап Максимыч. — Кому сочельник, а ему все еще святки.

— И не говори, батюшка!.. Что мне с ним делать-то?.. Ума не приложу... Не брат, а враг он мне... Век бы его не видала. Околел бы где-нибудь, прости Господи, под оврагом.

— Пустого не мели, — отрезал Патап Максимыч. — Мало пути в Никифоре, а пожалуй, и вовсе нет, да все же тебе брат. Своя кровь — из роду не выкинешь.

— Ох, уж эта родня!.. Одна сухота, — плачущим голосом говорила Аксинья Захаровна. — Навязался мне на шею!.. Одна отуда в доме. Хоть бы ты его хорошенько поначалил, Максимыч.

— Не учил отец смолоду, зятю не научить, как в коломенску версту он вытянулся, — сказал на то Патап Максимыч. — Мало я возился с ним? Ну, да что поминать про старое? Приглядывать только надо, опять бы чего в кабак со двора не сташил.

— Батюшка ты мой!.. Сама буду глядеть и работникам заказу, чтоб глядели, — вопила Аксинья Захаровна. — А уж лучше бы, кормилец, заказал ты ему путь к нашему дому. Иди, мол, откуда пришел.

— Не дело говоришь, Захаровна. Велик перед Богом грех родного человека из дома выгнать, — молвил Патап Максимыч. — От людей зазорно, роду-племени покор! У добрых людей так не водится. Слава Богу, нас не объест. Лишь бы не дурил да хмель-